

РЕЧЬ О ПУШКИНЕ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ ДОСТОЕВСКОГО

Речь о Пушкине, произнесенную Достоевским сто лет тому назад, 8 июня 1880 года в Москве, на заседании Общества любителей российской словесности во время торжеств в связи с открытием памятника Пушкину, давно и вполне заслуженно принято рассматривать как духовное завещание писателя. И все же, как мне представляется, среди многих важных аспектов содержания пушкинской речи есть один, привлекавший до сих пор внимание ученых — и в Советском Союзе и за рубежом — меньше других. Я имею в виду выраженные Достоевским в пушкинской речи взгляды на миссию писателя, на роль литературы в развитии духовной культуры и общественной жизни человечества.

Достоевский коснулся в пушкинской речи множества проблем, которые остаются остросовременными. И первая из них, находящаяся сегодня особенно горячий отклик в сердце каждого читателя этой замечательной речи, — идея будущего, «всеевропейского и всемирного»¹ братства народов разных стран. Достоевский был глубоко убежден в том, что будущий удел человечества — не вражда, а дружба народов, не взаимное истребление, уничтожение и гибель, а «мировая гармония», — гармония, «не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей» (389). Причем необходимо подчеркнуть, что идеал будущего всемирного братства народов Достоевский считал не книжным, всего лишь субъективным и отвлеченным идеалом, но закономерным итогом истории человечества, упорно подготавлившимся его развитием в течение многих веков, идеалом, который, независимо от желания или нежелания отдельных людей, уже давно реально прокладывал себе дорогу в истории и который, несмотря на все противоборствующие стремления и силы, в конечном счете должен восторжествовать и победить на Земле. Способствовать осуществлению идеалов взаимопонимания, братского единения людей и народов Европы и всего земного шара Достоевский страстно призывал русское общество.

Не останавливаясь на всей совокупности политических и нравственных идеалов Достоевского, отразившихся в его пушкинской речи (ибо они достаточно полно освещены и проанализированы в существующей научной литературе²), я ограничиваюсь лишь кратким указанием на эту — основную — линию получивших в ней выражение историко-философских взглядов писателя, так как она определяет содержание также и тех литературно-эстетических идей Достоевского, на значение которых для современности я хочу обратить специальное внимание в данной статье.

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. художеств. произв., т. XII. М.—Л., 1929. с. 389 (далее ссылки на этот том приводятся в тексте с указанием страниц). При цитировании других томов того же издания в скобках римской цифрой обозначается том, арабской — страница.

² В частности, в работах Б. В. Томашевского, А. С. Долинина, Л. П. Гроссмана, Д. Д. Благого, И. Л. Волгина.

В трудах многих философов и литературоведов, вышедших в течение последних десятилетий в Западной Европе и Соединенных Штатах Америки, Достоевский, к сожалению, хотя это не соответствует истинному его облику, изображается в качестве певца трагического «хаоса» и неразумия бытия, одного из родоначальников современной литературы «абсурда». В таких трудах утверждается, что Достоевский будто бы не верил в смысл истории человечества, видя в ней доказательство слабости и бессмыслицы Человека, его неспособности построить на земле новую, светлую жизнь. Может быть, самым убедительным и наглядным опровержением подобных безосновательных, хотя и широко распространенных в наше время на Западе представлений о Достоевском является его речь о Пушкине.

Ибо, как я уже сказал выше, руководящая идея всей пушкинской речи Достоевского — утверждение неотвратимого, закономерного движения человечества к будущему сближению и братству народов в качестве скрытого основного закона истории. А отсюда вытекает для Достоевского и представление о долге писателя, долге литературы — служить делу укрепления будущего межнационального, межчеловеческого братства. Восторженная оценка Достоевским Пушкина как русского национального поэта, сумевшего гениально приобщиться в своем творчестве к глубочайшей стихии русской народной жизни, выразить своею «всемирной отзывчивостью» порыв к грядущему мирному взаимопониманию и братству людей, является отражением общих представлений Достоевского о месте и назначении писателя — представлений, не имеющих ничего общего с модными на Западе пессимистическими эстетическими и культурно-философскими концепциями.

Мысль о сооружении памятника Пушкину возникла в России в условиях общественного подъема 60-х годов; с самого начала идея эта имела определенную общественную окраску. Памятник Пушкину должен был быть воздвигнут, по замыслу инициаторов его сооружения, на общественные средства, по всенародной подписке. Причем, так как тогдашний официальный Петербург был, по словам лицейского товарища Пушкина Ф. Ф. Матюшкина, переполнен «памятниками царственных особ и знаменитых полководцев»,³ было решено перенести сооружение памятника поэту в Москву, чтобы подчеркнуть неофициальный, народный по своему значению, а не «казенно-бюрократический» характер пушкинских торжеств.⁴ И самое открытие памятника должно было не только способствовать всенародному признанию Пушкина, но и подчеркнуть значение литературы для жизни и умственного развития народа и человечества, напомнить об исторической миссии, долгие и ответственностии писателя. Все эти идеальные мотивы присутствуют и в пушкинской речи Достоевского.

Говоря в своей речи о Пушкине, о национальном и мировом значении его творчества, Достоевский говорил не об одном Пушкине. Он думал вместе с тем о миссии писателя и о миссии литературы вообще, о ее роли в общественной и культурной жизни России и всего человечества. Достоевский стремился уяснить своим современникам и потомству, как он понимает исторический смысл деятельности и Пушкина, и его учеников и продолжателей, а следовательно, как он хотел бы, чтобы и мы, люди сегодняшнего дня, понимали смысл его собственной художнической деятельности. Эту-то сторону содержания пушкинской речи мне и хочется особенно выделить в условиях сегодняшнего дня.

Свою речь о Пушкине Достоевский начал, повторив слова Гоголя: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное

³ Булгаков Ф. Венок на памятник Пушкину. СПб., 1880, с. 199.

⁴ Там же, с. 204.

явление русского духа» (377). В чем же состоит «чрезвычайность», «единственность» Пушкина-писателя по Достоевскому? Отнюдь не в том, что Пушкин был «ни на кого не похож», что он был «новатором» во что бы то ни стало, в особенности новатором в области формы и стиля, т. е. не в том, что обычно особенно ценят в наши дни художники и критика, связанные с искусством «модерна». «Единственность» Пушкина, его «чрезвычайность» состоят для Достоевского в другом — в его сращенности с сердцевиной национальной жизни, т. е. в глубочайшей пародности Пушкина. Мысль о народности поэзии Пушкина, о его значении как русского национального поэта высказал как определяющую при оценке Пушкина — человека и художника — уже Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине», напечатанной в 1835 году в сборнике Гоголя «Арабески», — той статье, первые слова которой Достоевский процитировал в начале своей речи. Принимая тезис Гоголя о Пушкине — национальном поэте, положив его в основу своей речи, Достоевский поставил перед собой задачу развить, дополнить и уточнить в ней эту мысль Гоголя в условиях новой эпохи, уже не при жизни, а после смерти поэта, на позднейшей исторической ступени развития русского общества и русской литературы.

За четыре года до этого, в октябрьском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год Достоевский изложил содержание своего разговора с М. Е. Салтыковым-Щедриным, посвященного вопросу об отношении художественного творчества к действительности. Приведя мысль Щедрина: «А знаете ли вы... что, что бы вы ни написали, что бы ни вывели, что бы ни отметили в художественном произведении — никогда вы не сравняетесь с действительностью. Что бы вы ни изобразили, всё выйдет слабее, чем в действительности», — Достоевский замечает: «Это я знал еще с 46-го года, когда начал писать, а может быть и раньше, — и факт этот не раз поражал меня иставил меня в недоумение о полезности искусства при таком видимом его бессилии. Действительно, проследите иной, даже зовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира... Разумеется, никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо одно лишь наущное видимо-текущее, да и то по наглядке, а концы и начала — это все еще пока для человека фантастическое» (XI, 423).

В этих словах выражено коренное эстетическое убеждение Достоевского: действительная жизнь по своему содержанию несравненно сложнее, богаче и глубже, чем воображение любого писателя, даже если он одарен самой богатой творческой фантазией. От самого художника, от того, есть ли у него «силы» и «глаз», нужные для того, чтобы уметь видеть в фактах действительной жизни объективно скрытое в них бесконечно богатое и сложное внутреннее содержание, зависят глубина, сила и действенность его произведений.

Мысль, что основой всякого подлинного художественного творчества является действительность и что по богатству своего объективного содержания она бесконечно превосходит самую щедрую фантазию, мы многоократно встречаем у Достоевского. «Я ничего не знаю разнообразнее действительности...», — читаем в черновых набросках к «Дневнику писателя». — Никакая фантазия не может сравняться с действительностью, если хоть несколько в нее взглянуться». «Действительность пересиливает фантазию... Но и в действительность взглядывается поэт, а другой ничего не увидит».⁵

Признание действительности, самой жизни недосыгаемой по богатству

⁵ См. об этом: Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского. М.—Л., 1964, с. 365—367.

содержания «моделью» искусства было одним из краеугольных камней эстетики Достоевского. Оно определяет весь ход развития мыслей писателя также и в его пушкинской речи.

Не только Пушкин, но и его ученики, в том числе сам же Достоевский, были верны, по мысли последнего, прежде всего русской истории. Ибо героем их был, говоря словами писателя, «все тот же русский человек, только в разное время явившийся. Человек этот... зародился как раз в начале второго столетия после великой Петровской реформы, в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа, от народной силы» (378). Все русские писатели, начиная с Пушкина, изображали различные фазы в истории одного и того же национального типа — и именно это сообщает русской литературе XIX века, по Достоевскому, органическое, внутреннее единство, связывает между собою многоразличные, непохожие друг на друга на первый взгляд ее явления. Ибо источник художественного творчества по Достоевскому — это сама жизнь. А это означает, говоря современным языком, что Достоевский — хотели бы мы этого или не хотели — стоял в своих взглядах на литературу на точке зрения, близкой материализму, а не идеализму. Достоевский считал, что великая литература порождается не литературой, не следованием старым, уже существующим художественным образцам, равно как и не полемическим их переосмыслинием и выворачиванием напизнанку, но жизнью, ее движением и развитием. Национальная жизнь, жизнь народа и человечества порождают в своем движении определенные исторические типы, характеры, ситуации, специфические особенности которых в каждую эпоху обусловлены присущими ей «законами истории» (425). Литература же *угадывает и отражает* эти типы и характеры. Так, образы Алеко и Онегина могли быть созданы Пушкиным только потому, что их исторически необходимо породила русская жизнь: «В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скиталяца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем», — заметил по этому поводу Достоевский. А это означает, что для Достоевского — мыслителя и романиста — было бесспорным, что первоисточником этих, как и других великих образов мировой литературы, были «могучая сила жизни», движение истории. Вот почему не случайно Достоевский весьма резко полемизировал с представлением, которое разделяли многие уже тогдашние (да и позднейшие!) историки литературы, что образы Алеко и Онегина явились в русской литературе как простой результат подражания байроновским героям.

«Да, без сомнения, поэты Европы имели великое влияние на развитие его гения, да и сохраняли влияние это во всю его жизнь. Тем не менее, даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием, так что и в них уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения. В подражаниях никогда не появляется такой самостоятельности страдания и такой глубины самосознания, которые явил Пушкин, например, в „Цыганах“ — поэме, которую я всесдело отношу еще к первому периоду его творческой деятельности» (378). И Достоевский делает отсюда общий вывод: «Пушкин был всегда цельным, целокупным, так сказать, организмом, носившим в себе все свои зачатки разом, внутри себя, не воспринимая их извне. Внешность только будила в нем то, что было уже заключено во глубине души его» (386—387). А отсюда следует, что образы Кавказского пленника, Алеко и Онегина Пушкин отыскал, «конечно, не у Байрона только». Роль Байрона для Пушкина состояла в том, что он разбудил в поэте то, что было заключено «во глубине души его» и помог проявлению его поэтической «самостоятельности», ибо позволил Пушкину зорко разглядеть в русской действительности, схватить и изобразить «безошибочно» глубоко национальный тип русского скиталяца, искателя не одного своего узколичного, эгоистического, но общего, всечеловеческого

счастья, — тип, который был, по Достоевскому, «типом постоянным и надолго у нас, в нашей русской земле поселившимся» (378).

Перед Пушкиным и позднейшей русской литературой развертывалась великая историческая драма национальной жизни. Сотни и тысячи выходцев из господствующих образованных слоев общества отрывались от этих слоев, становясь «русскими скитальцами», которым, чтобы «успокоиться» и «примириться», нужно было не малое, узкочислое, эгоистическое, но большое, общечеловеческое, «всемирное счастье». И начиная с Пушкина, русская литература как живая и органическая часть жизни русского общества отражала беспокойство и скитальчество этих выходцев из образованных верхов, их трагические блуждания, их поиски путей к всемирному счастью и к воссоединению с народом. Тем самым Пушкин и позднейшие русские писатели не только верно отражали и выражали центральные трагические темы жизни своей страны, но и активно участвовали в решении всех самых сложных, запутанных вопросов русской и мировой истории, освещая обществу и народу настоящее, а вместе с тем — пути, ведущие от него к будущему.

В связи с этим хочется напомнить более раннее суждение Достоевского об «Анне Карениной» Льва Толстого. «У писателя — художника в высшей степени, беллетриста по преимуществу, — писал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 год, — я прочел страницы настоящей „злобы дня“ — все, что есть важнейшего в наших русских текущих политических и социальных вопросах, и как бы собранное в одну точку». И главное, по словам Достоевского, эта настоящая «злоба дня» явилась «не намеренно, не тенденциозно, а именно из самой художественной сущности романа» (52, 54).

Другими словами, значение литературного произведения — в том числе «Анны Карениной» — состоит, по Достоевскому, в том, что оно собирает *жизнь* — в том числе «политическую и социальную» — в фокус, в «одну точку». И это совершается у великих писателей, таких, как Пушкин и Толстой, обычно «не намеренно, не тенденциозно», но вытекает из самой «художественной сущности» их произведений, глубоко захватывающих драму исторической жизни. Отсюда ясно, что не идея, но *реальность* является для Достоевского первичной. Литература же сводит общий смысл ее многообразных явлений «в одну точку». И отсюда рождалась и рождается проблемность и злободневность искусства слова.

Итак, литература, по Достоевскому, прежде всего — зеркало национальной и всемирной истории, выразительница ее центральных, самых жгучих вопросов и потребностей, и именно со способностью литературы отражать «живую жизнь» в движении и развитии писатель связывал не только ее значение для своего времени, но и свойственный ей пророческий характер.

Как известно, повторив в начале своей речи приведенные слова Гоголя о Пушкине как «единственном» и «чрезвычайном» явлении русского духа, Достоевский добавил к этим двум гоголевским определениям третье. Пушкин был — по Достоевскому — не только верным истолкователем современных ему типов и явлений русской жизни, но и вдохновенным угадчиком и «пророком», сумевшим разглядеть и угадать в русской жизни ее способное к развитию, плодоносное зерно — «народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем» (388).

Мысль о том, что миссия искусства и литературы — не только отражать жизнь, но и выявлять ее скрытые возможности, освещать человечеству пути движения от настоящего к будущему, многократно высказывалась Достоевским и раньше — до работы над пушкинской речью. Так, в черновых материалах к «Бесам» мы читаем следующие слова, вложенные автором в уста «Грановского» (т. есть будущего Степана Трофимовича Верховенского) и относящиеся к драматургии Шекспира: «Вся дей-

ствительность не исчерпывается насущным, ибо огромною своею частию заключается в нем в виде еще подспудного, невысказанного будущего слова. Изредка являются пророки, которые угадывают и высказывают это цельное слово. Шекспир — это пророк, посланный богом, чтобы возвестить нам тайну о человеке, души человеческой».⁶ Развитая писателем в пушкинской речи идея «пророческого» значения творчества Пушкина явилась дальнейшим развертыванием высказывавшихся Достоевским в более общей форме уже раньше мыслей о «пророческом» характере искусства слова в наивысших, величайших его проявлениях.

Причем важно обратить внимание на тот особый, специфический смысл, который Достоевский уже в 1871 году вкладывал в цитированные только что слова о «пророческом» смысле творчества Шекспира.

Шекспир — по Достоевскому — не принес свой идеал в человеческую жизнь извне, из другого, неземного, потустороннего мира. Шекспир стал «пророком» благодаря тому, что сумел угадать и высказать то, что «подспудно» заключено в самом реальном мире, а самой действительности, хотя и существует в их недрах не в виде «насущного», очевидного для всех людей, но в виде еще неугаданного и невысказанного слова.

Другими словами, пророчный смысл литературы, по Достоевскому, в том, что она, не навязывая человечеству чуждые «живой жизни», субъективные и отвлеченные идеалы, умеет уловить и высказать то, что до поры до времени дремлет в общественной и личной жизни подспудно и в то же время уже сегодня, сейчас — пусть незримо и несознаваемо нами — живет и существует, а следовательно, потребует рано или поздно своего осуществления. Именно поэтому писатель-«пророк» — не фантазер и не выдумщик, но *угадчик*, который провидит и высказывает пророчески то, что объективно, независимо от субъективного желания или нежелания людей, заложено как реальность, скрытая пока от их глаз, в живущей и развивающейся по своим, неизвестным им законам объективной действительности. Действительность, «живая жизнь» бесконечно богата, могучи, неисчерпаемы в своих основах. И «пророческая» сила искусства неотделима от умения художника уловить не отдельные — пусть важные — стороны и проявления «живой жизни», а ее целостный, общий смысл, ее скрытые законы и возможности.

Именно поэтому Достоевский, говоря о «пророческом» значении литературы, никак не мог — вопреки уверениям некоторых из своих современных истолкователей в Западной Европе и США, — видеть в литературе силу разрушительную, деструктивную, силу, утверждающую абсурдность человеческого бытия, абсурдность и алогичность исторической жизни людей как последнее слово человеческой мудрости. Поэт-«пророк» в понимании Достоевского — не тот, кто утверждает хаос и разрушение, не тот, кто сеет своим творчеством в людях ужас перед бессмыслицей человеческого бытия, перед бесперспективностью развития национальной и мировой культуры, а тот, кто умеет постичь в «могучей сущности жизни» живые и плодоносные семена — семена, которые до поры до времени могут быть скрыты от глаз людей под внешним покровом «хаоса» и «разрушения», но которые тем не менее не только реально существуют, но способны к созреванию и развитию, а потому принесут в будущем, в чем Достоевский ни на минуту не сомневался, «много плода».

Мы видим, что Достоевский выразил в пушкинской речи свою уверенность в исключительном значении литературы как могучей силы общественной жизни. Причем писатель, по глубочайшему убеждению Достоевского, призван быть изобразителем реальных процессов исторического бытия народа. Он должен быть органически спаян духовно с сердцевиной национальной жизни. И величие художника состоит, для Достоев-

⁶ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. XI. Л., 1974, с. 237.

ского, прежде всего не в способности его выражать свои одиночные, индивидуальные, личные радости и страдания, а в умении верно понимать историческую жизнь народа, схватывать ее типы и характеры, ощущать ее больные вопросы и ее главное, магистральное направление, раскрывать связь между историческим прошлым, настоящим и будущим.

Глубокое проникновение художника в суть национальной жизни, умение верно схватывать ее потребности и идеалы, ее скрытые возможности и перспективы, видеть те элементы будущего, которые есть в настоящем, хотя не осознаются сколько-нибудь отчетливо другими, менее чуткими участниками национальной жизни, делают великого поэта не только верным изобразителем настоящего, его типов и характеров, но и сообщают его творчеству в большей или меньшей степени «пророческое» значение, ибо они делают его угадчиком будущего, таящегося в настоящем.

При этом художник, по мысли Достоевского, не может, более того, не имеет права смотреть на историческую жизнь как на хаос и бессмыслицу. Ибо историческая жизнь каждого народа и всего человечества в целом имеет определенное общее направление. И развитие ее, при всех свойственных ей противоречиях и уклонениях, идет не по нисходящей, а по восходящей линии, по пути, ведущему к завоеванию грядущей «мировой гармонии», утверждению идеалов «всемирного счастья» и братства народов.

Вспомним, что именно с идеей высокой исторической осмысленности жизни народов и человечества Достоевский в своей речи неразрывно связал мысль об исторической преемственности развития литературы. Ибо если история народов и человечества имеет определенное общее направление, то все ее отдельные, разрозненные моменты связаны — по Достоевскому — сложной диалектической взаимосвязью. Пушкин уловил в лице Алеко и Онегина определенный исторический тип своего времени. Но тем самым он указал дорогу также и своим преемникам. Ибо порожденный историей характер мыслящего русского «скитальца», страстного искателя общенародного и общечеловеческого счастья, час исторического рождения и первую фазу жизни которого зафиксировал Пушкин, не умер и не отошел в прошлое вместе с его эпохой, но продолжал жить, углубляться и развиваться дальше после смерти Пушкина. И позднейшие русские писатели, начиная с Лермонтова и Гоголя и вплоть до Толстого и Достоевского, были призваны историей в своем творчестве продолжать работу над решением той же самой исторической задачи, начало работы над которой положил Пушкин.

Важно подчеркнуть и то, что особую заслугу Пушкина Достоевский видел в том, что великий поэт сумел подойти и к народу, и к простому русскому человеку (эта мысль впервые выражена уже в «Бедных людях») не извне, а изнутри. Поэт смог оценить и полюбить в них их живую душу, без всякой снисходительности или проявлений барского, «господского» отношения к народу, взгляду на него сверху вниз. Выраженная в этой оценке общественно-нравственной позиции Пушкина вера в духовное богатство, силу и разум простого, демократического человека приобрела, думается, особую актуальность в наши дни, когда на Западе стали особенно популярны идеи презрения к массе, к народу, возвышение отдельной «сверхинтеллектуальной» личности над народом, отношение к народу как к стаду и толпе. Все эти популярные среди представителей современного мещанства больших городов идеи были особенно враждебны Достоевскому, и у нас не может не вызывать чувства гордости то, что Достоевский отвергал эти идеи, столь соблазнительные и столь пагубные, как показала история нашего века.

Пушкин, по оценке Достоевского, всецело, до конца, сердечно и беспредельно проникся тем глубинным миросозерцанием, которое подспудно, часто стихийно, неосознанно на протяжении многих веков жило в душе

русского человека из народа, направляя его историческую деятельность: именно поэтому, говоря о «всеотзывчивости» и «всемирности» Пушкина, Достоевский понял их не как черты индивидуального своеобразия Пушкина-поэта, а как черты национально-народные, отражающие психический склад множества русских людей: «И эту-то... главнейшую способность нашей национальности он... разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт» (387).

Национальная литература на протяжении всего своего развития обладает, по Достоевскому, общим смыслом и внутренним единством. Ни один писатель — если он подлинный художник — не начинает в ней на «голом» месте. Его творчество — звено в исторической работе поколений И именно это сообщает глубокий исторический смысл его деятельности. Каждый большой художник-творец начинает там, где окончил свою работу его предшественник. Призванный выразить духовные интересы и потребности своей исторической эпохи, изображать ее типы и характеры, он может плодотворно выполнить эту задачу, лишь учитывая закономерную, не зависящую от его воли связь между настоящим и прошлым. Лица, созданные его предшественниками, для такого художника не условные, книжные, литературные образы, которые он волен отбросить и с которыми может не считаться, но исторические предшественники его героев, — отражение характеров и типов, от которых последние ведут свою духовную родословную. Художник, который не продолжает в своем творчестве историческую работу поколений, неизбежно оказался бы вне национальной литературы, в стороне от ее исторической работы. Без глубинной связи с исторической жизнью народа, с духовными и нравственными исканиями прошлых поколений художник не может, по Достоевскому, сказать в искусстве своего «нового» слова о человеке, о народе и человечестве.

Поэтому литература, по Достоевскому, отнюдь не цепь исторически сменяющих друг друга символов и уподоблений, где каждый волен выражать любое удобное ему содержание, как это часто приходится слышать сегодня. Еще менее того литература представляет собой для него игру неких формальных «оппозиций» или других мертвых, отвлеченно-«структурных» элементов. Литературу делает литературой ее духовное человеческое содержание, ее связь с историей общества, способность ее глубоко и верно изображать настоящее и угадывать будущее. Благодаря этому, литература создает предпосылки духовной связи между поколениями, предпосылки взаимопонимания между людьми вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня, а также между людьми разных стран и народов нашей планеты, призванных историей ко взаимопониманию и сотрудничеству.

Служение литературы цели мирного сближения человечества, росту взаимопонимания народов, сплочения их, без ущемления интересов и культуры каждого отдельного народа, большого и малого, в единую братскую семью — таков эстетический идеал Достоевского, выраженный в Речи о Пушкине, идеал, который имеет громадное, неоценимое значение для всех нас также и сегодня.

Достоевский закончил свою речь призывом к смирению. Но его гордая вера в великое будущее человечества и в историческую миссию писателя-пророка придает ей совершенно иной, противоположный смысл. И в этом — залог ее исторического бессмертия.

